



Одѣрка



I

Старый наш пан, покойник, недобрый был человек! Не тем бы его вспоминать, да лучшим не за что.

У нас за рекой в хуторе жили вольные козаки; так и они даже боялись нашего пана пуще огня: крепко он и их обижал. А сколько уж нам, крепачкам, приходилось терпеть от него... сохрани господи всякого крещеного человека от такой напасти! Бывало завидишь его издали — бежишь от него зря, только б не встретиться с ним. Пуще всех боялись пана девушки... Не один век девичий веселый он сгубил. А что ему сделаешь? Идет бывало по селу сумрачный, сердитый да поглядывает по сторонам, словно волк хищный.

Сидим мы как-то раз в хате, говорим об нем (и не добром, правда, его поминаем), — как застучит, загремит вдруг кто-то в сенях... смотрим — сам он в двери, по пословице: «*Про вовка помовка, а вовк у хату!*»

Вошел он, да и спрашивает:

— А где твоя дочка Одѣрка?

А у моего брата была дочь. Боже мой милостивый, какая девушка! Бывало весь двор веселит она собою, звездочка наша ясная! Молоденькая, счастливая! Никакого горя не знает, не ведает, бегаёт, смеется, точно в серебряные колокольчики позванивает.

Как спросил он про Одарку, мы так и приросли все к месту, где стояли. А тут как раз Одарка в хату. Пан увидел ее — глаза у него засветились, и говорит он ей:

— Иди со мною в двор, девушка!

Одарка бросилась к матери, стала подле нее и стоит не дышит, моя рыбочка.

— Ей только еще пятнадцатый годок пошел; она еще дитя, — говорит отец; а мать плачет.

— А ты еще разговаривать станешь, вражий сын, так я тебя попотчую! — вскрикнул грозно пан, а сам снова к Одарке: — Скорей, скорей, Одарка, пойдем!

Она все стоит, не двинется.

— Скорей же!

Не идет, словно обмерла.

Схватил он ее за руку и потащил...

Словно наше солнце закатилось! Опустело у нас в хате, обезлюднело.

II

Мукой мучились мы вплоть до вечера. Вечером невестка побегала на панский двор проведать Одарку, да скоро воротилась.

— Не пустили к Одарке, — говорит, — и издали ее не видала, и голоска ее не слыхала!

А сама плачет, плачет!

И долгонько мы не видали своего дитяти: не пускали к ней ни отца, ни матери, ни меня. Бывало придешь, постоишь около панских ворот, да с тем домой и воротись. Не глядела бы на белый свет! Расспрашивать станешь у дворовых девушек. «Не знаем, — говорят, — сердце, не знаем. Ваше дитя словно за золотыми воротами заперта, и в глаза ее не увидишь».

А иные смеются, словно у них господь разум отнял. «Что с вашею Одаркою станется? — говорят. — Да то же самое, что и с нами было. И что же такое? Знатная панна ваша Одарка, что ли? А мы, небось, не отцовские дети тоже? Небось и нас мать не любила, не жалела, не нежила? Были и мы когда-то и хорошие, и добрые, и честные, да вот привелось же!.. А все-таки на свете живем и хлеб жуем!»

Мы ходим да ходим каждый день. «Авось, — думаем, — увидим!» Уже третья неделя на исходе. В воскресенье вечером невестка воротилась, вся в слезах. «Не видала, — говорит, — только дворовые надо мной насмеялись, прости им господи!»

III

Раз сидим мы молча: тихо в хате, тоска! Только слышим, как невестка плачет, как брат тяжело вздыхает. Вдруг что-то зашелестело; скрипнула дверь, и вошла наша Одарка.

Мы как на нее взглянули, так и обмерли: бледная она стоит такая да измученная! А она, бесталанная, поклонилась, да и стала у порога, словно чужая; стоит и глаз не поднимет.

— Вот, жена, — говорит брат, — вот и увидели мы свое детище! Какая пригожая стала!

Сказал, да и заплакал. Отроду в первый раз я тогда видела, как мой брат плачет. Не приведи мать божия увидеть в другой раз!

Посадили мы свою Одарку на лавке; невестка и спрашивает ее:

— Дочка моя! Горлянка моя! Тебя уж отпустили?

— Я, мамо, украдкой пришла. В двор гости приехали: молодой пан с женою.

— Расскажи нам, Одарочка, все свои беды, голубка! — говорю я.

— Да, расскажи им, расскажи! Пускай послушают, — вымолвил брат, да и пошел из хаты, словно его огнем обожгло.

Одарка горько заплакала, да и стала рассказывать все: как ее замыкали одну на ночь в горнице, как грозили и били, как до гибели довели...

— Ты б, моя дочка, пани попросила: может, она бы тебя спасла... неразумное мое дитяtko!

— Мамо, мамо! как пани поможет? Да от него все врассыпную бегут, словно голуби от коршуна! Не поможет пани! Пани и панночки на меня же злятся, будто я взаправду виновата. Какая из них ни пройдет мимо меня, так и корит меня и словом и взглядом.

Кручинимся да плачем, плачем да кручинимся... Не успели оглянуться, как уже темная ночь на дворе.

— Нездоровится мне, матушка, — говорит Одарка. — Переночую я у вас хоть одну ноченьку. Теперь в дворе гости — некогда им и спохватиться меня.

IV

Заночевала дома. Она еще и глаз закрыть не успела, как уже бегут за нею из господского двора парубки: «Иди скорей!»

Как она просилась, как она плакала! «Дайте мне пожить у батюшки!» Больно ей нездоровилось.

— Нет, — говорят, — мы не смеем. Не пойдешь по доброй воле — насильно поведем: так приказано! Тебя зачем-то еще с вечера искали панночки и приезжая пани.

— Знать, какая-нибудь еще беда готовится, — говорит невестка.

— Не доведи бог и до того, что было, — отозвался брат. — Лучше бы она маленькая погибла. Полно, Одарка, полно плакать, полно просить! Они не помилуют, да и не властны они.

— Не наша власть, — говорят парубки (и им жалко стало). — Эге, дядько, — говорят, — кабы наша власть!

Мы просто ума не приложим: что-то будет! Не знаем, идти ли на панский двор или дома дожидаться горя. А тут в обеденную пору приходит Одарка:

— Прощайте, мамо, прощайте!

Мы к ней:

— Что такое? Что такое?

— Отдали меня молодым панам, — говорит. — На той неделе повезут меня. И вас тоже берут, тетушка! Велено нам к воскресенью собраться.

У меня так на сердце и похолонуло. Хотя я и не в роскоши век свой изжила, да все же между своими, в своей хате; а тут отдают чужим людям, в чужую сторону, не знаешь за что и про что. Горько мне стало; залилась я слезами. А невестка бога благодарит, что ее Одарка не одна в чужую сторону едет.

Наш старший паныч женился на польке и жил в го-

роде; к отцу не ездил года с четыре: были они в ссоре. Старик сердился на сына, зачем он на полячке женился, и только тогда и простил его, когда бог ему внучат дал. Стали они вчастую приезжать. Полька околдовала старика словно чарами какими: он и слушался ее и деньги ей давал... а скупой был, господи боже!

Только приехала полька, пани с панночками и принялись ее уговаривать: «Выпроси Одарку себе!» Им, видите ли, хотелось, чтобы бедную девушку как можно подальше от пана завезли. Как начала полька просить, как начала молить пана, пан и отдал. Вот — приказали нам к воскресенью собраться, а сами вперед покатили.

V

Дождались мы воскресенья; сошлись родные нас провожать. Простились. Одарка в последний раз поклонилась матери, а мать схватила ее, облила слезами да только знай причитает: «Дитя мое! Дитя мое единое!» Так уже, несчастная, убивалась, что и каменное сердце бы растаяло. А Одарка будто замерла — и не плачет. Поклонилась отцу. Отец благословил ее: «Заступи тебя богия матерь, моя дочка!»

Привели нас на господский двор. Вozy уже стоят запряженные. Вышла пани с панночками, приказывает служить верою и правдою молодым панам. Вышел и сам старый пан.

— Трогай! — говорит он кучеру. — О чем тут толковать? Если паны на вас пожалуются, — пригрозил он нам, — то узнаете, как козам рога выправляют! Трогай! Мы поехали.

Едем день, едем другой. Спрашиваю Одарку: здорова ли она?

— Здорова, — говорит, — теточка, только на сердце тяжело, ох, как тяжело!

И все она думает, всё тоскует: известное дело — с отцом, с матерью разлучилась.

На четвертый день въехали мы в панский двор. Все нас оглядывают да перемигиваются; никто не заговорит с нами приветливо. Городские всё люди, непрямые, нечистосердечные, насмешливые.

Повели нас в хоромы. Выскочила пани. Может быть, вам не раз случалось видеть этих полек? Все они такие живые, да веселые, да речистые, говоруньи такие... И эта точь-в-точь была такая же. Как начала, так и за себя все сказала и за нас ответила. И так все это проворно да бойко! сама так и вьется перед нами. В летах уже была, а на висках кудри, вся в перстнях, в лентах — оттого и казалась моложава.

Вышел пан. Он был собою хорош, стройный такой и гордый да спесивый. Бывало если и взглянет, так одним только глазом, через плечо. Спросил, нет ли письма от отца, и вышел. Выбежали и дети на нас посмотреть. Пани им по-своему говорит: «Дайте этим холопкам ручки поцеловать». Они и протянули ручонки: целуйте! А сами отворачиваются.

VI

Велели мне прясть, а Одарку вышивать посадили. Вышивает она юбочки панночкам или что другое, да каждый вечер и несет показывать пани. Пани временем и добра бывала, только непременно ее выберит, если что там нехорошо, а временем как расходится, так ничем ее не уймешь, словно воду из мельничных желобов. Тогда всем беда!

Невзлюбила она нас; не столько меня, сколько Одарку. Бывало так и ест ее, как ржа железа.

Говорит она ей однажды: «Танцуй, Одарко! Танцуй, да и только!» Велела ее вывести на середину горницы: «Танцуй!» Пошла танцевать несчастная, да ножки у ней подкосились — упала, а паны грохочут: «Притворяется, — говорят, — притворяется!»

Смотрю я — тает, тает моя Одарка, как восковая свечка. Сидит бывало целый божий день и словечка не промолвит. Как пани ни допекает ее, как ни напускается на все — она молчит; только взглянет иногда на нее своими тихими, кроткими глазами. А паненята вопьются в нее, как пьявочки: «Ты дура! Твое племя все глупое! А ну, потанцуй!» Толкают ее, карапают, щиплют. Она только поглядит на них, моя голубка! Пани бывало даже разгневается, да и говорит: «Это какая-то каменная девка!»

VII

Дал господь весну. Мы в саду копаем, засеваем, а Одарка и за порог не переступила. «Много она тут работает! — говорит пани. — Пускай уж лучше сидит да вышивает!»

В один день отработались мы, идем из сада, а пани и говорит:

— Верно, Одарка не вышивает, а либо спит, либо зевает.

— Уж это верно, мамаша, что не вышивает, — подхватила старшая панночка. — Я уж знаю.

— Тише! — говорит пани. — Посмотрим, что она делает.

Подкралась... вошли. Одарка лежит, руки заложив под голову, вся бледная-бледная, только глаза сияют; лежит и пристально смотрит на нас... Даже пани остановилась и ничего не сказала. Я перенесла ее в каморку, положила ее на лавку... она уж и не встала.

Все бывало просит: «Сердце мое, теточка! Отворите окошечко и двери: пускай я на свет божий погляжу, пускай посмотрю туда, где моя сторона!»

Паны посоветовались между собою, велели бабу-лекарку привести. Пришла бабушка старенькая такая, даже побелела вся; расспросила, посмотрела, да и покачала головою. «Дитя мое несчастное! — говорит. — Затоптали тебя, как цветок душистый! Пусть не видят добра в жизни те, что это над тобою сделали! А твой век уж недолгий!» Перекрестила она девушку, заплакала, да и вышла.

VIII

Тогда пани велела отвезть Одарку в больницу.

— Пустите меня, пани, — прошусь я у нее, — я присмотрю за Одаркою! Я и работать вам буду хорошо, все сделаю, что прикажете, и за ней присмотрю.

— Вот еще глупости! — говорит пани. — Там лучше тебя присмотрят!

Так и не пустила.

В воскресенье как-то я вырвалась, побежала ее прове-

дать. Вошла, гляжу — она лежит как раз против окна, и окно открыто.

— Как начала ваша девушка просить да молить, — сказала мне старая служанка, что там за больными ходила: — «Положите да положите меня против окна» — надо было ей угодить.

— А что, Одарочка, — спрашиваю ее я, — как ты себя чувствуешь?

Она посмотрела на меня, да и говорит:

— Тетя милая! У нас теперь вишни да черешни цветут, а там скоро и мак закрасуется... А тато и мама? Нет вестей?

— Еще нету, голубушка! — говорю. — Я тогда сейчас прибегу к тебе. Не желаешь ли чего, Одарцо?

— Нет, теточка, ничего не хочу, пускай только меня от окна не отгоняют.

IX

В воскресенье я ее проведала, а в четверг, слышим, она умерла. Побежала я туда — а она уж на столе. Свечечка горит, а никого нет. И такая она хорошая лежала, как ангелочек божий!

Вошла старая прислужница.

— О, — говорит, — поплакала я над вашею дитею! Уж какая же она была тихая да покорная! Такой доброй души отродясь я не видала. Вошла я к ней вчера, она карабкается на окно. «Ой, — говорю, — девушка, что это ты делаешь?» — «Пустите меня, — сказала, — пустите, бабушка! Я взгляну туда в последний раз... Там мой отец и мать живут...» И так жалобно, словно пташечка тиликает: «Пустите!» Я ее и пустила. Поддержала ее; а она все глядит пристально-пристально вдаль, и слезы, как жемчужинки, так и сыплются мне на руки, теплые-теплые... Солнце тогда заходило. Увидала она — вишня в саду цветет: «Принесите мне, бабушка, цветочек вишневый, принесите, бабушка!» Я пошла и принесла ей. Она взяла. «О, какой пахучий да свежий! — говорит. — Спасибо вам, сердце мое бабушка!» Легла и цветочек подле себя положила. «Вот уже и солнышко низко!» — промолвила она, да и опять стала вспоминать про отца и мать; все их звала, все с ними говорила: «Тату мой, тату! На что

вы меня покинули! Матушка, возьмите меня! Ой, покинули меня! Покинули одну!.. Мамо!.. Тату!.. родные мои да милые!..» Прими ее господь на свое лоно, мою голубушку! Уж так я поплакала на старости лет!

В пятницу ее схоронили. Как стали гроб опускать в могилу, всё белые голуби над нею кружились. Солнце ярко сияло, словно рассыпалось по земле золотыми лучами. Утро такое ясное было да тихое, ветерок не повеет, тучка не набезит... Праведная душа преставилась!

